



А.М.Салмин «ДЕРЖИСЬ МОИХ ПРАВИЛ...

...Люби то-то, то-то, Не делай того-то, Кажись, это ясно...

А.С.Пушкин

Недавно меня попросили печатно ответить на довольно каверзный вопрос: «Чему Вас научила жизнь?» Обращенный одновременно к нескольким людям, в моем случае он, в общем, пришелся кстати, притом что кое-кто из опрошенных уклонился от ответа. Гипсовый ботфорт мешал мне тогда вести привычный образ жизни, и в этом были свои преимущества. Во-первых, появилось время писать не обязательные вещи. Во-вторых, в моем случае они обладают определенным иммунитетом в отношении критики. Их можно ругать за что угодно, но ни один критик не посмеет сказать, что они написаны левой ногой – она была в гипсе. Вообще, думать над такими вопросами можно дольше самой жизни, однако в тот момент я точно знал, с чего начать, и в этом было третье преимущество. Не следует карабкаться в сумерках по склонам, в особенности – если моросит дождь, вот чему жизнь меня научила. Важное качество того, что мы называем жизненным опытом – свежесть.

Жизненный опыт персонален и не предполагает обязательности или даже актуальности для всех. Он ценен как раз своей неповторимостью. В этом смысле усвоение таблицы умножения или преобразований Лоренца само по себе вряд ли можно отнести к жизненным урокам, если только постижение обязательных начал не сопровождалось какими-нибудь «жестокими и необычными», как гласит американская конституция, явлениями. Встречаясь с бывшими одноклассниками, мы редко вспоминаем, чему нас учили в школе, зато почти всегда – чему каждый из нас там научился к чести или стыду учителей. В жизненном опыте больше от know how домашнего варенья, от борцовских приемов или же от секретов китайской кухни. Если ваш китайский сотрапезник говорит вам, что в какое-то блюдо обязательно надо добавить именно этого соуса, это не всегда значит, что так полагается. Просто он только что попробовал, ему понравилось, и он хочет разделить удовольствие с вами. Жизненный опыт – антитеза здравого смысла, и существует две крайности в обращении с тем и другим. Писатели-моралисты приватизируют здравый смысл, писатели, склонные к психологизму, готовы обобществить свой жизненный опыт.

Какое-то событие иногда переворачивает разумную картину мира, почти ничего в нее не добавляя. Вряд ли Паскаль, упавший в Сену с Нового моста, узнал благодаря этому что-то такое, чего не знал раньше, однако тот случай решительно изменил его образ мыслей и всю его жизнь. Произошло, видимо, то, что по-гречески именуется метаноией, то есть, дословно, переменой ума или переосмыслением. Такое случается не со всеми, кто падает с мостов в реки, что говорит об уникальности каждого опыта такого рода, даже если налицо внешнее сходство. Если говорить о менее серьезных последствиях, то опыт, не умножающий формального знания, может быть источником полезных навыков. Лет двадцать тому назад в Вологодской области мы с одним из моих друзей допоздна засиделись у костра, а когда взглянули вначале на небо, а потом на часы, то оторопели. Время заката давно прошло, однако заря на западе не только не гасла, но, напротив, ширилась, разгораясь какими-то странными огнями: лимонным, сиреневым, фиштакковым. Полночи мы ждали конца света, а потом, конечно, не выдержали и пошли спать. Утро было вполне заурядным, как и весь следующий день, и все дни потом. Однако не только мы видели все это, и небесное явление живо обсуждалось. Одни специалисты полагали, что граница каких-то слоев стратосферы пролегла в ту ночь то ли ниже, то ли выше, чем обычно, и образовались серебристые облака. Другие грешили на несвойственное этим широтам северное сияние. «Есть множество такого, друг Гораций...». «There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in our philosophy». Ни один переводчик «Гамлета» не сумел толком справиться с этими двумя строчками – размер оригинала тесноват сразу для «неба» и для «земли» по-русски, но не в этом суть. Я так и не разобрался, какая все же связь существует между рассуждениями профессионалов и виденной мною небесной феерией. Однако, с тех пор я стараюсь не терять дара речи, сталкиваясь с не лезущим ни в какие ворота, и склонен считать это качество ценным приобретением не только для голкиперов и вахтеров, но и для обычных людей.

Неописуемый опыт может не только приобретаться раз и навсегда, как умение ездить на велосипеде. В нем, как и в этом умении, можно совершенствоваться. Старики часами пишут иероглифы на раскаленных плитах мостовой перед пекинским Тьен Тан – Храмом Неба. Они стоят поодаль друг от друга, не обращая ни малейшего внимания ни на своих товарищей, ни на праздных зевак, вроде меня. В руках у каждого кисть, на первый взгляд похожая на обычную малярную. Однако вместо мочальных метелок на концах этих орудий большие волосяные капли, делающие их многократно увеличенным подобием беличьих или колонковых кисточек для акварели и туши. Кисти окунаются в пластиковые ведерки с водой, ею-то старики и пишут триады иероглифов. Когда дописывается третий иероглиф, первый уже успевает испариться, второй испаряется на глазах, и плиты готовы для начала нового упражнения в каллиграфии. Возможно, эта технология

родилась из-за дороговизны бумаги на ее исторической родине, однако следствие поливалентно и, как правило, быстро освобождается от обязывающей связи со своей причиной. Как бы то ни было, формула Маршалла Маклюэна, согласно которой средство – это и есть сообщение, очевидно, справедлива не всегда, не везде и не во всем. Только в высшем, евангельском смысле первое и второе вполне совпадают. В зоре между сообщением и средством – вся история человечества. «Язык выстуживает душу», – написал однажды И.В.Киреевский своему другу А.С.Хомякову, извиняясь за лапидарность очередного послания. Собрание сочинений Хомякова насчитывает восемь томов, собрание сочинений Киреевского – два. Я не знаю, имеет ли фраза Киреевского отношение к этому обстоятельству, однако, помоему, ему удалось не в бровь, а в глаз уколоть светскую мысль, претендующую на органическую связь с русским Православием, вобравшим в себя традицию молчаливого умного делания – исихазма. Обратившись к «насушным вопросам современной жизни», русская религиозная философия начала усердно претворять Православие в православие. Подвиг духа и одухотворенной плоти исподволь подменяется усилиями благочестиво настроенного интеллекта, размышляющего и рассуждающего о подвигах духа и плоти.

Самый ничтожный повод может вызвать к жизни текст, к содержанию которого не имеет ни малейшего отношения. Вообразите себе заседание литературного общества в университете одного из штатов американского Юга. Гостиная в профессорском доме, распахнутая на три стороны и естественным образом включающая в себя часть газона. Приглашенные рассаживаются и растягиваются на стульях, в шезлонгах, на полу. Длинная рыжая девица вначале битый час читает прозаическую концепцию своей поэмы «Прекрасная Елена» с самоанализом, а затем минут десять саму поэму. Белый стих тяжеловат, темен и не всегда правилен, хотя в части сюжета безыскусная поэма не лишена оригинальности. В Троянской войне виноваты мужчины, а не богини. Пламя Илиона не искупает тлеющего пламени страстей, и Елена после каких-то гомерических перипетий находит приют на острове, связанном в эллинской поэзии с именем Сафо. Самоанализ же сводится к описанию того, что видела, ела и пила сочинительница, трудясь над той или иной строфой, и о чем она в тот момент думала. Так, строке «Бесплодный Менелай, насильник, жалкий воин...» (пер. мой. – А.С.) соответствует момент, когда к поэтессе на подоконник вскочил кот Трой с полевкой в зубах. Имя этого кота, тенью мелькнувшего в комментариях и затем безвестно слинявшего (словечко из словаря Владимира Даля в версии П.А. Бодуэна де Куртене), показалось мне довольно подозрительным. Я иногда пытаюсь угадать, из какого слова родилась идея текста и, если речь идет о стихотворении или коротком рассказе, какая строчка в нем была на самом деле первой, и какая – главной. Ради какого спутника, забрасываемого в пространство, сооружена многоступенчатая ракета-носитель, и ради взятия какой

крепости – турус на колесах. С отдельной строфой такие операции проделывать проще, чем со стихотворением в целом, и с плохими стихами – проще, чем с хорошими. Стихам совсем не обязательно быть гениальными, чтобы расти из какого-нибудь сора. Текстам вообще свойственно расти неведомо откуда. Из неуловимых впечатлений, объяснение которых, как у рыжей поэтессы, ничего не объясняет. От внешне случайного раздражения, как жемчужина или злокачественная опухоль. И потом они живут своей независимой от авторских замыслов жизнью, иногда рождая целые области бытия со своей многовековой историей, политикой, экономикой. Я говорю сейчас даже не о таких всемирно-исторических явлениях, как ведическая, библейская или кораническая цивилизации, а, например, о «культурах» Шекспира, Гёте, Б.Акунина и других читаемых авторов. При этом развивающиеся тексты вовсе не обязательно имеют исключительно литературный, вообще вербальный характер. Бетховен посвящает королю французских скрипачей Рудольфу Крейцеру сонату для скрипки и фортепиано – усладу музыковедов и профессоров (но не студентов) консерватории. Толстой пишет свою «Крейцерову сонату», почему-то навеянную именно бетховенским опусом 47, и она дает пищу критикам и литературоведам и т. д. Тексты, помимо прочего, творят вполне материальные миры, предоставляя людям работу в разных отраслях промышленности, включая целлюлозно-бумажную и все, что ее обслуживает. Даже самый изголодавшийся покупатель провизии сегодня знает, что рекламные находки, то есть символы, а не чувство голода – двигатель пищевой промышленности. Любой автор – вольный или невольный трансформатор неведомых мусических стихий в малоизученные, но вполне осязаемые энергии культуры. И включается этот трансформатор, подчас, по самым невероятным, то есть непредсказуемым, причинам.

...Собрание долго обсуждает, по какой генеалогической линии – через Т.С.Эллиота, Готфрида Бенна, конечно – Йетса, или же через Мэри Годвин, сестер Бронте и т. д. – можно возвести к узловатому корню мирового литературного древа творение местной знаменитости. Свою версию: через Льюиса Кэрролла по чеширской линии, благоразумно оставляю при себе. Между тем, запутавшись в сюжетных и концептуальных филиациях, общество переходит было к психоанализу, но тут толковище как-то быстро сворачивает на факультетские сплетни и архетипические, т.е. бородастые, анекдоты и затухает – благо пора разбегаться. В самом деле, если нет ясной, например – терапевтической цели, из подсознания многого не вытащишь. Психология помогает объяснить историю, но не рассказать ее. Рождение сюрреализма сопровождалось надеждами на возникновение какой-то новой реальности, по крайней мере – новой знаковой системы, превосходящей все остальные. Однако искусство обогатилось всего лишь некоторым количеством тиражируемых архетипов и правилами игры с ними, включая самоцензуру. Выплеск психокосма в мир культуры породил очередной жанр

со своими графическими мэтрами и живописными маркизами, своими единоличниками и, конечно, эпигонами и мастерами рекламы. Рыли котлован под рукотворное море, нацедили громадную лужу. Впрочем, небо отражается и в море, и в луже.

С тех пор, как в нежном возрасте я под бдительным руководством бабушки выучил «Где гнутся над омутом лозы...», слишком навязчивые призывы к погружениям в глубины вызывали у меня некоторый скепсис. Более полутора веков тому назад Сент-Бёв язвительно заметил по поводу Токвиля, что тот «не скользит по поверхности, но и не достигает самого дна». Какое дно может быть у бездны? Мне, в общем, импонирует отношение к этому вопросу подводников, считающих, что погружаться всякий раз следует на глубину, оптимальную для выполнения правильно поставленной задачи. На оккамову глубину: *nil supra necessitatem*. Это важно, а различие «большой теории» и «теорий среднего уровня» – дело вкуса. Что до дна бездны, то там хранятся такие сокровища, как чертеж вечного двигателя, рецепт счастья, эликсир вечной молодости, коммунизм, неизменный рубль (не путать с неконвертируемым!), общая теория относительности в применении к Вселенной и полное собрание оксюморонов.

Восхождение на глубину требует и общей концепции, и know how, всегда оставаясь, в конечном счете, искусством конкретного и постепенного дела. Художник Павел Филонов, достигший к 1928 году вершины славы, рассказывает в письме молодой художнице Вере Ш., как он работает. «Пошли к черту всякое понятие о каком-то «общем». Позволь вещи развиваться из частных до последней степени развитых, тогда ты увидишь настоящее общее, какового и не ожидал. Когда вещь будет так сделана, то, если понадобится, сделаешь вывод, т. е. проработаете в иных местах вторым, третьим слоем (у меня доходило до 9 слоев)». Это письмо стало культовым, как теперь принято говорить, у адептов «аналитического искусства». Оно существует во множестве неточных копий с ошибками, пробелами и темными местами. Веру Александровну Ш. я знал в детстве. Чуть ли не в любое время года она приходила к нам домой в какой-то рыжей мутоновой папахе, заломленной набекрень, длинном просторном пальто, курила «Беломор» или «Аврору» и говорила – всегда возбужденно и убеждающе – хриловатым прокуренным контральто. К сожалению, меня тогда больше интересовали ее замечательная шапка и вензели, которые она рисовала в воздухе папиросой, чем ее слова. Помоему, она не очень любила детей и не уделяла мне специального внимания, как другие взрослые. Гораздо позже мне сказали, что много лет ей пришлось провести в лагерях. Годы спустя, студентом, я в немужейной обстановке добрался до одной филоновской картины, всю ее тщательно осмотрел и едва ли не ошупал, в том числе и в местах, обычно скрытых рамой. Никаких следов многочисленных лессировок («до 9 слоев»), признаться, на том полотне я не обнаружил. Недавно, перечитывая случайно попавшееся мне на глаза то самое филоновское письмо юной

Вере Ш, я вдруг нашел то, на что в свое время не обратил особого внимания. «Знайте, – пишет маэстро, – что самое высшее содержание картины – это ее сделанность. Это является и ее наивысшей ценностью и ее критерием. Этот профессиональный критерий включает в себя и идеологический критерий вещи». Представление о том, как может быть написана картина, входит, очевидно, в ее концепцию, даже если написалась она на этот раз почему-то совсем по-другому. Как совсем не по замыслу сложилась жизнь корреспондентки Филонова, да и его собственная. В этом противоречии – единство стихии творчества и его свободы, созвучное «жизни жизни». То, что в эпоху Татлина и Гастева естественно было именовать «сделанностью», я бы назвал, пожалуй, выращенностью. Конфликт развитых частных рождает многое такое, о чем заранее и помыслить невозможно, и происходит это без царпанья половником по дну психологической лужи. Не говоря уже о психиатрической. «Гений, парадоксов друг» держит шизофрению на коротком поводке и в строгом ошейнике, иначе лужа оборачивается тем водоемом, который психиатрия не без оснований считает своим *mare nostrum*. О квантовой механике, об уравнении Шрёдингера и т. д. рассуждать в этой связи не хочу – это не мой жизненный опыт.

Любой дельный сержант знает, что теория – необходимое, но не вполне достаточное условие успеха. Не всякий генерал, однако, догадывается, до какой степени не достаточное. Обычной и не всегда бескорыстной недооценке этой степени многим обьязано чудище организованной культуры. В своем предсмертном интервью Ханс-Георг Гадамер говорит о жене Мартина Хайдеггера: «У этой женщины было нечто большее (чем у Хайдеггера – А.С.), к счастью для нее, и образование было лучше, чем у мужа. Он был менее образован, хотя, как я узнал позже, он глубоко изучал философию». Надо понимать – не обязательно обладать достоинствами супруги философа, чтобы написать «*Holzwege*», хотя и отсутствие этих достоинств едва ли стоит возводить на пьедестал. Умение создать строгую теорию того, что уже сделано при отсутствии или сомнительном участии таковой – особый дар, не каждый раз получаемый в паре с творческим. Однако только так консервируются и затем доставляются потребителям интеллектуальные продукты. Об этом я часто не без огорчения думал, когда в докомпьютерный период своей жизни старательно подгонял какую-нибудь по возможности красивую формулу под описание трудоемких расчетов, сделанных, что называется, вручную.

В представлении о строгой теории слишком нестрого сблизилась две пары: идиографический и номотетический подход с одной стороны, гуманитарный и естественнонаучный – с другой. В школе я преимущественно увлекался астрономией и географией, наивно, хотя и вполне искренне, считая их науками-кузинами, занимающимися пространством, и еще за полгода до выпуска намеревался стать астрофизиком. Почти случайный выбор в пользу землеописания далеко

увел меня от предмета первоначальной симпатии, так что энигма отношений между Творцом и творением впоследствии являлась мне не столько в контексте осмысления феноменов микромира и Вселенной, сколько в измерениях истории, языка и политики. При этом мне всегда казалась не очень убедительной мысль о несовместимости естественнонаучного и гуманитарного методов, хотя основанные на них культуры и разбегаются, как галактики или как поезда, уходящие в разных направлениях с одной станции. Метафоричное, тяготеющее к уникальному (и в этом смысле родственное вульгарному жизненному опыту) гуманитарное знание отнюдь не чуждо поиску и формулированию «законов» – оттого и охотно математизируется – только эти законы имеют в нем иной смысл, чем в естественнонаучном. Они значимы в нем в той мере, в какой определенные суждения принимаются за аксиомы в данном контексте. Или, точнее – в какой различные императивы и табу могут облекаться в форму суждений. Математика, как от печки, танцует от аксиомы, гуманитарные науки, претендующие, в отличие от жизненного опыта, на обобщение, хороводят вокруг тайны. Главное в них – постоянная реинтерпретация аксиоматических суждений с учетом максимально обобщаемого опыта.

Все знают, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток» и т. п., и так или иначе определяют для себя, чем Восток отличается от Запада. Без этого не обойтись ни в туристической поездке, ни при выработке политических решений. Лусиан Пай в свое время предложил семнадцать признаков, по которым западные культуры отличаются от незападных. Спустя почти полвека эти признаки выглядят как описание того, что Пай подсознательно воспринимал как главное в западной политической культуре своего времени, и они не являются таким частным случаем какого-то более общего описания различия между Западом и Востоком, которым можно безоговорочно пользоваться в каком бы то ни было контексте. Потеряв мнимую безусловность и, в этом смысле, ценность, «признаки» Л.Пая, как факт изучаемой истории мысли, обрели новое значение и новую значимость в новом же контексте. Если бы мы могли исчерпывающим образом описать различия между культурами на каком-то научном языке, мы и договорились бы на нем об устранении этих различий, как вторичных в отношении языка и создающих «шумы» при общении. Однако здесь гуманитарное знание в гносеологическом понимании, вообще наука и искусство, исчерпывают свои возможности. Взаимодействие или, если угодно, суперпозиция любых живых, а не концептуализированных или в образе выраженных культур, в том числе индивидуальных – процесс intersубъективный, подобный политическому. Он включает в себя две в равной степени важные, но совершенно разные, с точки зрения этоса и пафоса, стадии. Если смысл первой состоит в выдвижении плодотворной идеи, способной лечь в основу диалога, и это исходная задача гуманитарного знания, а то и искусства, то на второй стадии главным становится достижение консенсуса. Итоговая конструкция

нередко оказывается менее изящной и вызывающей меньше эстетические восторги, чем первоначальный замысел. Главное ее преимущество в том, что она прочно стоит на земле и не обрушится при первом порыве ветра. Одностороннее развитие исследовательского или художественного начала в человеке, становящееся поветрием и общественной модой, воплощает в жизнь утопии, где человек и все человеческие сообщества – объекты. Гипертрофия политического – опошляет общественную жизнь и лишает общества перспективы. Вне религиозной культуры эти начала не просто систематически расходятся, но и противопоставляются друг другу, что далеко не всегда очевидно в силу то ли врожденной, то ли воспитанной религиями Откровения привычкой к монизму. Практическая необходимость их синтеза – задача более фундаментальная и менее очевидная, чем так называемое разделение властей в государстве. Сами же неявные аксиомы гуманитарного знания имеют онтологический характер, они утверждаются подвигами духа и отстаиваются подвижничеством, в том числе вооруженным. Не знаю точно, что хотел сказать Александр Блок своим образом поэмочного призрака в венчике из роз с дюжиной «апостолов» за спиной, но, на мой взгляд, «сказалась» у него аллегория двуединства православия и бунта. После 1917 г. начнется повсеместная реакция против православия. Эмигрантское «противление злу насилеи» насмешливым эхом отзовется в советском «добро должно быть с кулаками». Однако дело сделано. После драки даже добру не очень пристало махать кулаками. Карачаться по тому склону, с которого только что скатился до самого низа, очень трудно – это вновь настойчиво подсказывает мне все тот же недавний жизненный опыт. Так это или нет, однако вряд ли кому-то придет в голову защищать с помощью кулаков или оружия основы математики. Правда, однажды при мне два математика чуть было не подрались из-за первой теоремы Гёделя, но это не в счет, и не только потому, что мне удалось их разнять. Не интеллектуально, а физически, но и не в этом дело. Дело в том, что саму теорему о неполноте никто из них не оспаривал, и стычка вышла из-за интерпретации общекультурного смысла этой теоремы для таких профанов, как я, а это уже, скорее, гуманитарная область. С другой стороны, имплицитные аксиомы гуманитарного знания косвенно, но иногда решающим образом определяют и направление развития естественно-математических наук. Принято иронизировать по поводу таких явлений, как «арийская физика» или «пролетарская биология», и такая реакция естественна, почти инстинктивна в рамках доминирующей парадигмы. Конкурируют между собой, однако, не только научные школы, но и парадигмы науки, и победа как первых, так и вторых зависит не только от доказательств теорем, но и от того, какое толкование имплицитных аксиом становится господствующим, и сколь повсеместно и надолго господствующим.

Говорят, что перевелись, как динозавры, крупные мыслители и политики. Эра раннего Интернета неблагоприятна для «властителей дум» – властителей дум в сети-буфф. В особенности неблагоприятен

период вторичного упрости́тельного смешения гуманитарных повадок с естественнонаучными привычками. Интернет вместе с другими mass-media девальвирует право интеллектуальной собственности на привлекательную новизну общественных идей. Но средства массовой коммуникации едва ли способны обесценить такое занятие, как восстановление стертых смыслов. Потому, что ревалюация смысла требует нравственного усилия, а не просто оспариваемой способности опережать интеллектуальную моду, передавая свое знание избранным. Интернет, как и изобретение Гутенберга – не причина, а следствие вековых изменений в культуре общества.

«Cogito, если обратить dubito на него, а не заставлять их через голову друг друга солидарно палить во внешний мир, как в копеечку, подобно двоянным «пушкам» в китайских шахматах «сян ци» – более зыбкая категория, чем хотелось бы допустить в рассуждении торжества разума. У трансцендентального – довольно илистое дно, а у феноменологии – дальтононизм в отношении хронического и ахроничного», – так бы я ворчал, если бы имел право противопоставить всему этому что-то более серьезное, чем жизненный опыт, вынужденный вполне практически осваиваться в пространстве и во времени.

Мне кажется, что я помню себя с двух с половиной лет отроду. Живю представляю, как во время поездки на пароходе – еще колесном – по Каме мы отстали и догоняли его на буксирном суденышке. Речники на плаву передавали меня из рук в руки по узкому деревянному трапу с шустрого закопченного буксира на наш сверкающий огнями и гулко шлепающий лопастями по воде белоснежный гигант. В более зрелом возрасте я напомнил эту историю отцу. Вначале он утверждал, что никогда и нигде мы с ним не опаздывали ни на один вид транспорта, а потом вдруг спохватился: «Да, в самом деле, тогда устроили какой-то пикник на берегу, и условились, что буксирный катер потом догонит пароход, но ты не можешь этого помнить, наверное, у тебя это из чьих-то рассказов». Таковых я припомнить не мог и выложил козырную карту: «А ты помнишь, как назывался этот буксир? Так вот, назывался он – «Свяга»... «Отец побледнел»: так, пожалуй, должна была бы закончиться эта история, если бы я занимался беллетристикой. Если бы это была Лета, а не Кама. В действительности отец рассмеялся: «Ну, не знаю, как он назывался, только ты, скорее всего, нанизал на какой-то эмоциональный стержень более поздние воспоминания, когда-нибудь попробуй написать о том, как рождается память». Именно это я сейчас и делаю, и я в самом деле не знаю, откуда взялись детали того воспоминания, и как они соединились в едином, до сих пор живом образе. У отца были свои счеты с Мнемосиной – матерью всех муз. Во время войны он вел дневник, где подробные записи перемежались зарисовками, и впоследствии забавлялся и сокрушался, наблюдая, что делает жизнь с памятью его менее дружных с Клио однополчан, в том числе и тех, кто по складу характера совершенно не склонен был что-то приукрашивать или утаивать.

Лет десять назад я перестал писать в газеты, появляться на телевидении и т. п. – за довольно редкими исключениями, когда трудно отказать друзьям или когда кажется, что в таком-то или таком-то случае нельзя промолчать. В большинстве случаев, кстати, можно, и иногда нужно, и молчать, и отказывать. Но как бы то ни было, собственное имя все же время от времени попадалось мне на глаза. Почти всегда (это почти социологическое наблюдение, которому недостает только статистической обоснованности) упоминание этого имени в контексте каких-то достоверно известных мне событий было либо бессмысленным, либо ошибочным. Это побуждает меня а priori довольно сдержанно относиться к тому, что для общего употребления и без явного специального умысла – корыстного или страстного – пишется и говорится об известных и неизвестных мне людях, особенно если речь идет об отдельных упоминаниях или даже специальных публикациях. Журналисты вынуждены домысливать то, чего не знают точно, причем времени у них, как правило, – до ближайшего выпуска. Но даже если кто-то становится постоянным героем телевизионных, радио или журнальных новостей, положение принципиально не меняется. И в беллетристике в принципе то же самое. У меня есть несколько знакомых – литературных героев, и пару раз я и сам попадал во второстепенные литературные персонажи. Не знаю, представителен мой опыт или нет, но все, кого я имею в виду, включая себя, очень условно соотносятся с персонажами, носщими наши имена или выступающими под псевдонимами. Ничего не поделаешь. Любой на свете рассказ сюжетен, большинство сюжетов шаблонны, а причуды памяти, не говоря о пристрастиях, дают сюжетам волю. У любого обиженного есть ограниченное только законом право в свою очередь сделать своего обидчика литературным персонажем.

Что бы, однако, не происходило с памятью, я более или менее уверен в одной вещи. Когда мне было лет шесть или семь, я вдруг почувствовал, что начинаю быстро забывать уютное, верой и правдой служившее мне прошлое, и понял, что самые важные воспоминания необходимо освежать в памяти перед сном. Эту мысль я тогда записал, чтобы и ее не забыть, в дамский альбом «для стихов» в бархатном переплете, который мне отдали на растерзание, и куда я помещал стихи и сказки собственного сочинения, тоже сопровождая их рисунками. И, пока меня не переубедят, буду считать, что из раннего детства помню только то, что успел, и что сумел тогда «перезапомнить». Много позже я даже избрал доморощенную теорию, согласно которой детские впечатления в каком-то смысле двухмерны – что-то вроде цветастого ковра или картины с обратной перспективой. Здесь особая логика отношений между знаками, почти исключаящая причинно-следственный иллюзионизм и подчиненная лишь иерархической упорядоченности того, что представляется более важным и менее важным, более и менее ярким. Взрослея, мы вынуждены «перекодировать» наши воспоминания, строя их по другим ранжирам, в частности

– по хронологическому. В нашей взрослой памяти остается, видимо, лишь то небольшое, что мы успеваем перевести с одного языка на другой, подчинив иллюзии временной последовательности или, по крайней мере – сохранив как особо важный образ, не имеющий точного места на хронологической оси. И только когда мы отходим к Всевышнему, в последний земной миг, не имеющий длительности, обе логики совмещаются: еще по закону гаснущего времени, но уже вне его – и преобразующаяся личность вспоминает все события завершившейся жизни. Этим рассуждениям решительно не хватает того, что требуется от настоящей концепции: повторяемости и воспроизводимости фактов, на которые она опирается. Но ведь жизненный опыт во всем этом не нуждается по определению, и если уж к нему обратились, он в своем праве – его неделя.

«Прошлое прошло, будущее будет». Эти плеоназмы имеют один смысл, если допустить, что жизнь сводится к посюсторонней составляющей, и другой – при альтернативном допущении. В этом случае смысл и тавтологии, и самой этой составляющей меняется: прошлое не проходит, а будущее в каждый данный момент «составляется» в некоей связи с непроходящим прошлым. Парадоксы, с которыми сталкиваются теоретическая физика и квантовая механика, и которые так волнуют в последнее столетие научное сообщество, с гуманитарной точки периферийны в отношении парадокса, фундаментального в отношении целой культуры: напряженного противоречия между постулатами предопределения и свободы воли. Психологически подготовленные современной физикой к тому, что некоторые естественнонаучные аксиомы оказываются менее надежными, чем казалось ранее, мы не можем не предположить, что эти два постулата могут непротиворечиво сосуществовать лишь при допущении обратимости времени. Если Бог всемогущ по определению, в его власти сделать и бывшее – небывшим, и в этом случае тема диалога человека со своим Творцом приобретает дополнительные оттенки. Человек, в частности, не может не допускать, что он, не ведая того, живет в странном положении условно освобожденного по милости Божией, в том числе, как знать, и от совершения преступления. Его приговор пересмотрен, а судимость, возможно, будет снята. Допущение такого рода может иметь существенные последствия для самооценки человека и его мотиваций, однако, едва ли большие, чем два упомянутых постулата по отдельности. Приятель, с которым я как-то поделился этими соображениями, предположил, что и синдром *deja vu* проще всего объяснить, допустив обратимость времени. Не знаю. Одно дело – вывод, к которому нельзя не прийти на основе логики, даже если он и выглядит парадоксальным. Другое – тот, который естественнее всего сделать, поскольку он кажется наиболее простым.

Однако, даже соглашаясь с этими доводами, в обиходе мы чаще всего ориентируемся банальным способом. Зная кое-что о неевклидовых геометриях, мы все же строим дом, веря, что параллельные стены у нас не пересекутся. В противном случае нам, видимо, нелегко

будет жить на этом неевклидовом свете и уж, безусловно, мы построим нечто, именно для этого и пригодное. В отношениях с прошлым в быту господствует императив, если не факт, простой причинности, с будущим – императив, хотя и не факт, причинности целевой. Презумпции прошлого и будущего с нами – одно всегда позади, как спина, а другое впереди, как нос, даже если мы им и крутим во все стороны. Взыскующий симметрии Янус мог бы не узнать свой чеканный профиль в земном зеркале. Хотим мы этого или нет, но весь свой жизненный опыт мы пытаемся уложить в прокрустово ложе анамнеза, диагноза и прогноза, даже если не являемся практикующими врачами, а то, что не укладывается в него, чаще всего стараемся забыть, как сонное наваждение. При этом попытки заглянуть в будущее не менее увлекательны, чем попытки разгадать знаменитые исторические загадки или припомнить то, что было до первого достоверного воспоминания.

Люди, обладающие пророческим даром, редко угадывают те конкретные пути, которыми приходит предвидимое ими событие, в том числе и время его свершения. Современники посмеивались над «Скифами» Александра Блока, и действительно, в его гротескных обвинениях и угрозах, обращенных к вторгшейся к нам Европе, было что-то от пафоса обиженного ребенка. Однако времена переменились. Четверть века спустя Европа вновь пожаловала к нам, и тогда мы обернулись-таки к ней «своею азиатской рожей». Никогда не смейтесь над женщинами и поэтами. Мне доводилось не только читать, но и слышать от опытных людей, что точный и полный смысл предсказания раскрывается только в момент, когда оно сбывается, а его правдоподобные, но неточные или неполные трактовки отравляют жизнь, хотя иногда и подслащают пилюлю. Так или иначе, я и сам не раз убеждался, что действительное или мнимое знание будущего редко помогает знающему в том смысле, какой он в этот момент вкладывает в слово «помощь». Мало что-то знать, надо еще быть уверенным в смысле и качестве своего знания. Такую уверенность, казалось бы, естественнее всего встретить у верующего человека, но как раз верующий чаще всего старается не проявлять по собственной инициативе слишком обязывающего интереса к тому, что выглядит как знание «оттуда».

Короче говоря, наши отношения как с прошлым, так и с будущим трудно назвать образцово упорядоченными. И в таких условиях историкам и прогнозистам, не говоря обо всех остальных, приходится заниматься историей и прогностикой или хотя бы думать о прошлом и будущем!

Мы пытаемся написать ясную и правдивую биографию человечества, своей страны, своей «малой родины». И при этом справедливо полагаем, что без ощущения того, что такая биография изложена или может быть изложена, наша ощущаемая же самооткровенность под угрозой. Однако любая коллективная история, даже история семьи –

результат постоянного сопоставления и согласования чьих-то свидетельств, материальных памятников и жизненного опыта. Летописцы небеспристрастно отмечают необычайные события (землетрясения, затмения, войны, рождения наследников, убийства правителей и т. п.), а они все похожи друг на друга, но почти безразличны к мелочам быта, которые им кажутся банальными и самоочевидными. Эти мелочи становятся фрагментарным достоянием археологии, иконографии, вычитываются между строк тех же летописей и т. д. В обыденной жизни, между тем, история присутствует в двуединстве изменившегося и вечного. Крестonosец Робер де Клари, разорявший Константинополь в 1204 году, пишет об аистах, которые вьют гнезда на колонне Юстиниана, что между Св.Софией и дворцом ромейских императоров. Ни этого дворца, ни колонны давно уже нет – здесь сквер, заполненный туристами, мелочными торговцами, дервишами. Остались только Агия София, переделанная вначале в мечеть, а затем в музей, и кружащиеся над ней аисты. Свидетельства этих метаморфоз и это пребывание безличной жизни, несоразмерной человеческой, в совокупности подсказывают идеальный образ истории как единого непрерывного процесса перемен, подающегося непротиворечивому описанию.

Сторонники модных сейчас критических хронологий всего лишь в очередной раз доказывают иллюзорность этого идеала, недостаточность и вопиющую противоречивость фактов, призванных способствовать его воплощению в жизнь. Ученое сообщество сердится, подобно Юпитеру, отказываясь даже обсуждать их выкладки. Между тем, они демонстрируют, в сущности, лишь то, что коллективная память человеческого сообщества оказывается на поверку не лучше индивидуальной. Принятие противоположной точки зрения требовало бы специального обоснования. Проблемы у новых хронологов возникают по мере того, как они начинают поспешно предлагать вместо большого мифа, сопротивляющемуся систематизации, его логически упорядоченную и хронологически усеченную версию, отчасти основанную на повторяемости иконографических решений и сюжетных ходов истории. Писаной истории – истории хронографов и историков, нередко мыслящих стереотипно и на протяжении большей части истории возводивших эту стереотипность в принцип. Соотношение двух мифологий примерно такое же, как греческой мифологии в совокупности дошедших до нас античных текстов и древнегреческих мифов в пересказе для детей Я.Голосовкера: последние намного гармоничнее. Как это нередко случается, полемисты в процессе спора обмениваются аргументами и меняются ролями. Сегодня старый непричесанный миф всеобщей истории, в той мере, в какой его фрагменты являются частью научного знания, противостоит в качестве науки новому эрзац-мифу, рожденному научной критикой, вышедшей за свои пределы. Вообще, всем, занимающимся историей, бесполезно время от времени бросать взгляд на напластования культурных слоев в раскопах и на этажи разнородных и разновременных руин в древнейших центрах культуры, дожившие до наших дней. Свидетельства

этих объективных, хотя и неточных, хронометров иногда отрезвляют крайних субъективистов.

Писаная история – неременный атрибут уважающего себя сообщества. В каком-то смысле она похожа не просто на часы, показывающие правильное или неправильное время, а на те дамские часики, о которых упоминает в одном из своих трактатов Иммануил Кант. Для их обладательницы важнее, чтобы они были, и чтобы все видели, что они у нее есть, чем чтобы они показывали время – правильное или неправильное. Так обстояло дело с часиками во времена Иммануила Канта. С историей так обстоит дело столько, сколько она существует. Однако у нее есть и одна дополнительная функция, которой не было, и не будет никогда у хронометров – даже у будильников или часов с кукушкой: объяснять, почему произошло то, что произошло. При известии о чьей-то смерти людей, как правило, в первую очередь интересует то, что, если вдуматься, не является самым существенным, а именно – обстоятельства случившегося. Уяснение обстоятельств позволяет поставить всегда нелепое, с точки зрения земной жизни, событие в какой-то приемлемый смысловой ряд. Этот ряд показывает, помимо всего прочего, что подобное не происходит с кем угодно ни с того, ни с сего, без таких веских причин, как болезнь, старость, неосторожность и т. д. Факт недавней истории. М.С. Горбачев, вернувшийся в Москву после августовского путча 1991 г., заявил что-то не очень ясное насчет того, что всей правды о тех событиях то ли не знает, то ли не узнает никто и никогда. Его принялись обвинять в причастности к заговору, он начал оправдываться и т.д. Пошла писать губерния. Никто почему-то не предположил, что президент СССР тогда вовсе не проболтался, как подумали недоброжелатели, а проговорился по Фрейду, что далеко не то же самое. Действительно, разве главное в том, какие существовали комплоты, и кто в них участвовал? В три дня рухнуло все вокруг – и что? Знает ли кто, и узнает ли когда, какие в этом смыслы? Пусть ответят те, кто успел разобраться в причинах падения Римской империи. Вся история истории, с тех пор, как она покинула лоно хронографии – неравная битва с иллюзией очевидной причинности. История нам причинила. Художник нам изобразил. Поворачивается трубка калейдоскопа, и сыплются разноцветные кусочки битого стекла, пока не застынут в неустойчивом равновесии и, благодаря предуготованной иллюзии, не создадут новый искусно нарисованный узор. Даже прикладную философию истории создать едва ли проще, чем исчерпывающим образом описать механику калейдоскопа. В качестве первого элементарного упражнения можно попробовать начертить скомканный лист бумаги в аксонометрической проекции или хотя бы нарисовать его. Художник нам изобразил, история нам причинила.

Неудовлетворительно описывая прошлое, и плохо помогая в поисках причин событий, история, однако, активно соучаствует в создании того, что мы воспринимаем как будущее. Не знаю, как это происходит,

но мне кажется, что между естественным стремлением честно и просто рассказать историю в очередном культурном контексте и столь же естественным желанием с интересом и без задних мыслей выслушать ее обычно возникает какое-то сочувственное напряжение. Возможно, к примеру, что в создание современной русской нации, если таковое произойдет до полной и безоговорочной победы глобализма, решающий вклад внесут те, кому удастся правдоподобно и увлекательно рассказать отечественную историю как историю семейную, а не изложить, как государственную, что было важно при создании российской государственности. Историческая наука в таких ситуациях обычно не просто дружит с литературой, но заключает с ней брачный контракт. Именно историческая беллетристика, не беря греха на душу, может позволять себе кое-что домысливать, что непростительно для науки, претендующей на строгость. Иными словами – творить в духе пометки сэра Уинстона Черчилля на полях рукописи его парламентской речи: «Аргумент слабоват, добавить голоса!». Оригинального источника, кстати, я сам не видел, мне эту историю рассказали в Палате общин британского парламента, и она, сколько я могу судить, не противоречит образу Черчилля, что для истории уже немало. Если факты – плоть истории в широком смысле, то анекдот – ее кровь. Мне не раз приходилось читать в прессе о событиях, участником которых я был. Почти всегда ход этих событий излагался неверно, и если источников было несколько, еще и по-разному неверно. При этом суть события авторам часто удавалось понять и объяснить достаточно правильно. Очевидно, что в этих случаях решение подгонялось под ответ, полученный каким-то своим путем, ради придания ему необходимого информационного правдоподобия. Так, что называется, делается история у самых ее истоков, и здесь трудно что-то изменить. Разве что конкуренция различных концепций истории, не говоря о хронологиях, постоянно прерываемая то их компромиссами, то принуждением к миру, а то и взятием стана противника «на шагу», не позволяет безраздельно господствовать наиболее примитивным из них и в силу этого наиболее пригодным к употреблению в качестве политических рецептов прямого действия. История, как дисциплина, должна не столько подсказывать, как действовать в политике, сколько мешать поступать по исторической аналогии в техническом, но не в нравственном отношении.

Что касается прогнозов, то я много раз спрашивал их любителей о том, зачем они им, если они понимают всю условность прогнозирования. Ответы обычно сводились к тому, что надо же от чего-то отталкиваться. Даже если допустить, что в некоторых случаях эта формула маскировала просто суеверие или детское любопытство, свойственное и вполне образованным людям, лучше нее, пожалуй, ничего и не выдумаешь. В самом деле, когда мы совершенствуемся в решении уравнений с неизвестными, наша главная задача – не определение их числовых значений. Действительно важно обрести навык решения

уравнений определенного рода с тем, чтобы в нужный момент по крайней мере не совершить нелепую ошибку, источник которой – незнание не того, что нельзя постигнуть, а того, что стыдно не знать. В прогнозировании в этом контексте говорят о сценарных развилках. Умение читать дорожные знаки небесполезно даже для того, кто не знает, куда, почему и зачем он едет.

Обычно опасаются так называемых самоосуществляющихся прогнозов почти по поговорке: «Помяни волка, и он тут как тут». Считается, что убедительный прогноз создает ожидания, они провоцируют определенные действия и т. д. Однако серьезный прогноз и должен стремиться к самоосуществлению, иначе это не прогноз. Или, что, в сущности, то же самое – к неосуществлению. Прогнозу противопоказаны созерцательность и связанная с ней неконкретность постановки задачи. Еще одно сокровище, покоящееся на дне упомянутой выше бездны – прогноз состояния мира, страны, деревни и т. д. вообще и на всякий случай. Мне в лицах рассказывали про одно собрание ученых и чиновников. Чиновники требовали ответить на вопрос, когда наступит хаос. Ученые удивились, но стали отвечать по возможности подробно и аргументированно, гадая, отчего это вдруг чиновники озаботились действием второго закона термодинамики. Те, в свою очередь, подумали, что ученые, как всегда, пытаются увильнуть от точного ответа на поставленный практический вопрос. В действительности дело было в неправильном ударе, и чиновников, конечно, интересовала вовсе не энтропия, а то, когда в стране наступит хаос. Это было время, когда в кулуарах власти все в очередной раз принялись спрашивать друг друга: «Ну и когда же наступит конец?». Иностранцы любят называть такие приступы мировой скорби на наш отечественный лад «русским пессимизмом». Однако, если отвлечься от удара, породившего целую комедию ошибок в миниатюре, нельзя не признать, что прогноз хаоса, как предела Вселенной – задача более конкретная, чем прогноз хаоса в России. В первом случае речь идет об абстрактной, модельной вселенной, как физики ее сегодня знают или думают, что знают, а во втором – о конкретной стране, которую ни чиновники, ни ученые не знают и не питают на этот счет особых иллюзий. Точные науки, как они исторически сложились, вызывающе гносеологичны. Гуманитарное же знание продолжает скрывать, но не может скрыть своей онтологичности.

Чего-то стоящий прогноз требует создания того, что я, за неимением лучшей метафоры, называю социальным компьютером. Предположим, мы занимаемся стратегическим планированием на основе процедур, восходящих к моделям Томаса Саати, использующим, в частности, экспертные оценки. Чтобы их эффективно применять, недостаточно знания самих этих моделей и даже умения приспосабливать их к нетривиальным задачам. Нужна еще критическая масса экспертов, мыслящих стандартно, говорящих на одном языке и понимающих друг друга с полуслова. Не просто хороших, тем более – уникальных

специалистов в своей области, а людей, принадлежащих к одному сложившемуся слою и в идеале взаимозаменяемых. Если, скажем, это экономист, он должен дважды в сутки следить за индексами Доу-Джонса, NASDAQ, другими стандартными показателями и т.д. И он должен быть готовым в любое время дня и ночи высказать стандартное экспертное суждение, отличающееся от суждений других экспертов в пределах десятых или сотых после запятой, а не с таким разбросом положительных и отрицательных величин, что средняя арифметическая экспертных оценок в пределе будет стремиться к 0. И это еще далеко не все. Внешними условиями относительно надежного прогнозирования и основанного на нем планирования являются также рутинно действующая бюрократия, рутинный политический процесс, относительно неизменная структура институтов и устойчивая правовая среда. Плюс к этому – сложившаяся система нравов и обычаев. Иначе эффект использования таких моделей можно будет сравнить с полезностью автомобиля в местности, где никогда не было ни дорог, ни бензина, ни даже ГАИ. «Социальный компьютер» – устойчивая, хотя и гибкая, самонастраивающаяся система властных, экономических, культурных и др. отношений между людьми, которая создается при их осознанном технологическом вмешательстве. Это последнее обстоятельство отличает «социальные компьютеры» от других, как более спонтанных и традиционных, так и от более жестких мобилизационных форм социальной самоорганизации. «Социальный компьютер» предполагает формирование как искусственных однородных сред (аналог – материалы с заданными качествами), так и искусственных иерархий, а также цепей отношений. Все это создается как через социализацию, так и с помощью социальной и политической инженерии (аналоги – селекция и генная инженерия). Элементарный пример: специалисты в области изучения такой субкультуры, какой является полиция, в какой-то момент догадались, что полицейских по ряду причин лучше отправлять на патрулирование попарно, и притом пары должны состоять из мужчины и женщины и т. п. Лозунгом современного «социального компьютера» могла бы стать фраза: «Необходимая социокультурная среда в необходимом хронотопе». Это совсем не то же самое, что нужное число необходимым образом подготовленных и организованных людей в нужное время в нужном месте. Элементы такого компьютера, как и почти любые формы общественной организации, стары, как мир. Цезарь, который отбирал для своих штурмовых когорт краснорожих легионеров и отвергал бледнолицых, полагая, что у первых более быстрая реакция, чем у вторых – создатель прообраза одного из элементов современных социальных систем. В этом отношении постмодернистские армии с их принципами организации, постоянным тестированием личного состава, идеей психологической совместимости и т. п. ближе к этим когортам, чем к гвардейским полкам сравнительно недавнего прошлого, куда набирали по росту, по цвету глаз и волос. Такие формы организации у нас в дефиците, и даже

нет слова, которое описывало бы различия между обществами, в которых они критически важны, и обществами, где их влияние почти не прослеживается. Слишком обще, на языке XIX-XX вв. (но не XVIII-ого!), мы называем такие различия «культурными» в политкорректном смысле, как бы заранее отказываясь от их оценки и практического отношения к ним.

Прогнозировать, таким образом, естественнее всего поведение социальных артефактов в сфере их распространения, и их же поведение планировать. Да и то без греха далеко не всегда получается. Существуют, разумеется, и другие типы прогнозирования и планирования, в том числе не столько использующие артефакты, сколько создающие их в самом процессе прогнозирования и воплощения прогноза в жизнь. В сущности, так и приходится действовать командирам подразделений и частей, оказавшихся в окружении без связи с командованием, капитанам тонущих кораблей и, отчасти, кризисным менеджерам с широкими полномочиями. Так что подобное поведение само по себе не является в человеческом общегитии немислимым, даже если и оказывается из ряда вон выходящим. Другое дело – распространение этой практики на предельно большие системы в обычном состоянии. В этом случае публика может не заметить разницы между прогнозистом и пророком. Жозеф де Местр, к примеру, был признанным пророком в своей среде. Возможно, в нем видели даже не просто пророка, а провожатого, знающего путь к высокой цели и уверенного в ее достижении. Нового Моисея, ведущего к сокровищам, лежащим, как впоследствии выяснилось, все на том же дне бездны. Ни один из его прогнозов, насколько мне известно, не оправдался, желающих воплотить его пророчества в жизнь оказалось недостаточно, и сардинский посланник в России, подаривший нам «Санкт-Петербургские вечера», остался в истории в основном благодаря другим своим достоинствам. Однако потребность в вожатом зрела, смысл ее уточнялся, среда, зыскающая вожатого, менялась, и вслед за анемичными предтечами – Сен-Симон, Ламеннэ и др. – он вскоре объявился, звали его Карл Маркс. После нескольких десятилетий пустынноблудия его ученики вернули Израиль фараону. Вожатым такого рода для оправдания своей деятельности необходимо, в сущности, доказать применительно к своему уровню претензий то, что на своих уровнях более или менее очевидно для подчиненных упомянутых выше командиров и менеджеров средней руки: что «система» гибнет или обанкротилась. В данном случае – что обанкротилась и гибнет не более и не менее, чем мировая система. Марксу с Энгельсом понадобилось написать сотню томов, так и не собранных в MEGA, а их последователям – убедить своих последователей, что в этих *in quarto*, взятых в целом, такое доказательство действительно растворено, хотя ни каждое сочинение по отдельности, ни жизненный опыт вполне убедительного доказательства не содержат. Часто говорят, вслед за тем же де Местром, что причина великих революций – неверие. Однако

искреннее неверие, как и вера, оборотной стороной которой оно является, по своему оптимистично. Скорее, корень в том, что сам де Местр (и вслед за ним Достоевский) определил как «полунауку». Протоиерей Михаил Ардов рассказывает в своей книге анекдотов о беседе Архиепископа Киприана (Зернова) – живо представляю колоритную фигуру этого архипастыря в интерьере Скорбященской церкви на Большой Ордынке в начале 1980-х гг. – с каким-то советским послом. Советский дипломат сказал тогда, что религия его совершенно не интересует. По словам о. Михаила, Владыка Киприан заметил на это, что религиозными вообще бывают обычно люди или совсем простые, или высокообразованные. Трудно представить, как воспринял это советский посол, но действительно, если первые чувят «пари Паскаля» нутром, то вторые – принимают рассудком. Так или иначе, вера учит полагаться на Бога, неверие заставляет полагаться на себя, может быть – втайне надеясь на Бога. Так что речь в данном случае может идти не столько о неверии, сколько о каком-то недоверии, рождающем тревогу и парализующем волю. Не-доверии и недоверии, вынуждающих принимать на веру знание самозванцев о причинах неминуемого конца света и о практических способах его предотвращения. Правословие наверху, не-до-верие повсюду. Под знаменем марксизма обречены были, видимо, соединяться не столько пролетарии, сколько ипохондрики, мизантропы и паникеры всех стран, независимо от классовой, национальной и расовой принадлежности. Почти любой из нас, заколебавшись, может оказаться исполнителем одной из этих ролей. Если не забывать о кризисной природе коммунизма, становится понятным, что крымские большевики из воспоминаний Ивана Шмелева, «кормившие» голодающих жителей сообщениями о том, что петроградские товарищи строят электрические аэропланы, чтобы привезти хлеб, были не просто лгунами и даже, может быть, не все были мерзавцами. Как капитаны гибнущих судов, они, возможно искренне, пытались затеплить искорку надежды у тех, кого этой надежды лишили.

Когда я говорю о марксизме, я имею в виду марксистское мессианство, а не классовый анализ, по разным причинам к нему притянутый за уши. Классовые отношения многозначны, и любая инструментальная теория не исчерпывает, как правило, всех возможных причинно-следственных связей. Как писал сам К.Маркс, причины и следствия во взаимодействии утрачивают свои определяющие черты. Когда, к примеру, А.Т.Твардовский обрушивается на «небезызвестного В.Набокова, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представителя верхушечной части эмиграции» за его слегка ироничные воспоминания о И.А. Бунине, не сразу и скажешь, чего больше в этой классовой запальчивости. Солидарности одного разорившегося мелкопоместного с другим таким же мелкопоместным перед лицом разоренного аристократа – или же рессантимана коренного жителя Подтепья в отношении ветерком подбитого петербуржца,

который, походя, лихо, как шампанское откупорил, спародировал солидного и монументального степняка.

Два типа прогностического планирования или, говоря модным нынче языком, два общественных проекта, не наследуют друг другу и друг друга не исключают. Если, например, во французской и русской революциях, прозванных великими, рассудок бывал – в разное время и в разной степени – обличаем и в основном побеждаем безумием, то, скажем, в так называемой германской национальной революции первый достаточно систематически подчинялся второму, служа ему при всем параде. Французские революционеры создали – или намеревались создать – храмы разума. Русские инвестировали в Коминтерн. Альберт Шпеер придумал специальную «теорию руин». Символические сооружения тысячелетней империи должны были строиться так, чтобы и после их разрушения – столетия спустя – выглядеть величественно. Действительно, разрушенное через десятилетие после своего создания поле парадов в Нюрнберге выглядит, особенно на рассвете и закате, величественнее, чем церковь в Тулузе, превращенная якобинцами в «храм разума», да так толком и не восстановленная. Или чем выглядел в любое время суток бассейн «Москва» в котловане так и не построенного Дворца советов. Руины рассудка в целом все же более монументальны, хотя и не менее печальны, чем пустыри безумия.

Это все, в общем – об историческом измерении моего опыта, а теперь о политическом. Подобно автору эпитафии к этому тексту, я знал трех верховных правителей моей страны. Первый относился ко мне хорошо, однако это было после его отставки. Второй относился по-разному, в зависимости от того, что я ему говорил, что писал на его имя, и какое было у него настроение. Третий, вероятно, не относился никак, если вообще имел представление о моем существовании, по крайней мере, после инаугурации. Из советских вождей один раз в детстве я видел Хрущева, он был отчего-то зол, угрюм, и показался мне неприятным. Машина Подгорного однажды едва не сбила меня, когда я законопослушно переходил улицу на зеленый свет, и Подгорный показался мне похожим на Хрущева. Впрочем, главой государства Подгорный вообще не был, хотя формально и считался таковым. Кто-то чаще, чем я, сталкивался с верховной властью, кто-то реже. Во всяком случае, моего личного опыта не хватает, чтобы на его основе рассуждать о ее природе и обычаях в России, или где-либо еще, описывая их изнутри, а не только извне, как это принято у политологов. Это не критика политологии или научного знания вообще. Оно и возникло, чтобы смотреть извне и при этом что-то видеть. Астрофизики тоже судят о процессах, происходящих в недрах Солнца, наблюдая эту звезду извне.

По другой причине не стану трогать и ту особенную власть, каковой является власть мнения: «союз артистического бомонда и политического истеблишмента», как гласит одна реклама. Рекламируется какой-то ресторан, видимо, по мнению зазывал, – естественное место

обитания такого союза. Мне не раз приходилось писать об этой среде, рождающей предрассудки, слухи, идеи – в большинстве случаев бесполезные, что ей не в укор. Любое говорящее сообщество, кроме клетки с попугаями, производит или оглашает, по большей части, бессмысленные идеи, в том числе – массу вредных, но также, конечно, и те, без которых не проживешь. All that jazz – маркитанты власти, ее походная лавочка, где она что-то покупает, что-то присваивает, живя, как и полагается, главным образом в долг. Подобно женщинам до французской революции из рассказа г-на Лагарпа о г-не Казоте, эта среда верит, что ни за что не отвечает, хотя, добавлю от себя, до любой революции склонна к публичным уверениям, что отвечает за все. Странно было бы требовать от нее, как и от рынка, коллективной ответственности, к которой ее время от времени призывают – иногда всерьез. Что до любого из нас, то боюсь, что отказ от ответственности перед Богом за сказанное слово не оправдывается ни ответственностью перед государством или народом, ни безответственностью перед тем и другим.

Если говорить о власти, как универсальном начале общественного устройства, с которым в разных его воплощениях все мы имеем дело практически ежедневно, то я с какого-то момента стал обращать внимание на то, что её иерархическая, негэнтропийная природа корректируется свойствами человеческой природы. Точнее, на то, как именно она корректируется. Проще говоря – всем известно, что власть портит, развращает и т. д., но это только одна сторона дела. Не менее верно, что она притягивает самых разных людей, не одних ангелов во плоти, давая возможность осуществить свой принцип, удовлетворить свою страсть и т. д. Любую власть облепляют свои особенные, будто специально выведенные – как породы собак или гусей – неврастеники, маньяки, истерички и т.д. Будь то представительная, финансовая, полицейская, военная, разведывательная, экспертная – хоть пожарная или канцелярская власти. Разумеется, повсюду немало и весьма достойных людей, иначе власти давно стали бы экзотическими средоточиями грехов, аллегии которых выставлены Михаилом Шемякиным на московском Болоте, где в свое время казнили Пугачева. Однако если достоинства, как правило, либо индивидуальны, либо вполне универсальны, то пороки и страсти, скорее, типичны для отдельных властвующих клеточек, хотя и вовсе не обязательно доминируют в каждом случае. Присутствие типичных персонажей окрашивает суховатую идею сдержек и противовесов в специфические тона, неведомые классической теории политики. С соседней ветки или веточки власти их можно и не рассмотреть, полностью списав не вполне очевидные, как бы стилистические только, мизантропию, садизм или клептоманию на особые условия работы, правила игры, или дурную организацию. Как бы то ни было, квазирациональность «социального компьютера», о котором я говорил, умеряется и извращается иррациональностью на том же субклеточном уровне власти, а не

только на уровне институтов эпохи большого стиля в политической философии. Сама же эта иррациональность остается ничем не уравновешенной, если вместо «социального компьютера» у нас лишь ложноклассический фасад, за которым – отсутствие его проекции вглубь. Говорят, что в декорациях нельзя жить, и я сам когда-то использовал эту метафору. Это, однако, не совсем так. В какой-то телевизионной передаче мелькнул сюжет о кинематографистах, построивших в пустыне на территории одной из стран СНГ фанерный городок для съемок фильма о жителях пустыни. Кинематографисты уехали, и вместо актеров городок заняли настоящие жители пустыни, которые, возможно, живут там до по сей день. Конечно же, в декорациях можно жить, а не только играть жизнь. Более того, при желании в них можно делать и то, и другое одновременно или по очереди.

Мой жизненный опыт мешает мне надеяться на то, что государство создаст когда-то некое гражданское общество, на которое возлагается сегодня столько надежд. Но еще в меньшей степени позволяет он рассчитывать на то, что такое общество можно создать, объединив благонамеренных людей вокруг идеи общественного блага. Это еще одна жемчужина со дна бездны – вера в то, что если хорошие люди объединились бы, как объединяются злые, то они непременно победили бы злых. В разгар так называемой перестройки ко мне пришел довольно развязный молодой человек и неожиданно застенчиво попросил вступить в затеянную им «партию хороших людей». Я тогда быстренько спровадил его, хотя, пожалуй, стоило уделить побольше внимания этому романтику. Мне следовало бы, наверное, рассказать ему, что у любого человеческого объединения в принципе тот же закон, что и у кильватерной колонны, скорость движения которой определяется возможностями самого тихоходного судна или корабля. И если тихоходность – единственно важный для такой колонны показатель, то у каждого человека, не исключая любезнейших и добрейших из нас – целый букет самых разных недостатков и пороков. Так что, с точки зрения общественного блага, собрание лучших людей, вероятно, будет отличаться от сходки отпетых негодяев, причем даже в выгодную для себя сторону. Отличие, однако окажется не таким контрастным, как этого хотелось бы. Разумеется, эта размытость возникнет при том условии, что как первые, так и вторые соберутся «вообще». Одни во имя всего самого доброго, а другие – из совокупности самых низменных побуждений. То есть и первые, и вторые – не ради вполне конкретных и практически достижимых целей. Таких, чтобы одним, к примеру, учредить общество взаимного кредита, а другим – чтобы его ограбить. Не знаю, сумел бы я убедить моего тогдашнего гостя или нет, но деятельность созданной им организации какое-то время служила для меня одной из иллюстраций этого моего тезиса. Нравится это кому-то или нет, так называемые институты гражданского общества относительно эффективны лишь в той мере, в какой люди добровольно принимают на себя многожды обруганную

миссию социального разделения труда, то есть такой самоорганизации, которая сближает его элементы с «социальными компьютерами». Самые же привлекательные формы самоорганизации (как, впрочем, и организации), позволяющие людям проводить время в приятном обществе, чаще всего обладают непрогнозируемой общественной полезностью. Непрогнозируемой – не значит нулевой или минимальной. Это значит – неопределимой и непредсказуемой в мире артефактов, в котором не только анализ, но и прогноз становится социальной нормой.

Скрытые, неконцептуальные энергии политики мешают адекватно оценивать происходящее и влиять на него, даже если не совершается явных ошибок. Году в 75-м веселое молодое общество, коротая вечер до утра, пыталось вообразить, как будет выглядеть грядущая революция в России. Предположения высказывались разные: апокалиптические, квазинаучные, абсурдные. Теперь ясно, что задним числом победил тот из нас, кто сказал, что революция – это когда перестают ходить троллейбусы. Это предсказание сбылось не только буквально, но и недвусмысленно. В августе 91-го троллейбусы не ходили по маршрутам «Б» и «10». В остальном и сам политический переворот, и его ближайшие и более отдаленные последствия имели весьма условное отношение к тем образам, которые посещали тогда наши разгоряченные головы. Хотя строго формально, то есть словесно, мы ошибались далеко не во всем. Между вербально выраженным образом и явлением существует больший или меньший зазор, который во многом обесценивает не только прогнозы, но и многие оценки настоящего. Говорят, что тоталитаризм в России уступил место демократии, социализм – капитализму и т. п., и в некоторых контекстах это правильно с формальной точки зрения. Гораздо менее убедительны в этом смысле утверждения, что переход из одного состояния в другое ценен сам по себе, что он имеет универсальное значение и определенный алгоритм, и что он может тиражироваться.

Является ли «демократия» чем-то, кроме простого отказа от явной несвободы, то есть бегства с опостылевшего невольничьего берега в открытый океан? Как-то раз, много лет назад, шквальный ветер стал уносить присвоенную нами дырявую плоскодонку с одним веслом от берега – не океана, но и не самого маленького из наших северных озер. Когда дела пошли сквернее некуда, один из моих друзей бросил клич, который не мог не воодушевить: «Не бойтесь, господа, не утонем, у меня папа – адмирал!». Все расхохотались, мы действительно не утонули (*post hoc non est propter hoc*), и мне с тех пор стало казаться, что в подобных ситуациях всем вместе трудно обойтись без какого-то резона или хотя бы стимула, даже если у каждого по отдельности почти не остается иллюзий, а резон не стопроцентно резонен. Во всяком случае, отсутствие иллюзий помогает в таких случаях не больше, чем отсутствие или присутствие стимула или резона. Кому не известно выражение Черчилля: «демократия – худшая форма правления, кроме всех остальных»? Примерно то же, но другими словами,

говорил и К.Поппер. В принципе, все это не более и не менее справедливо, чем то, что развод и лишение родительских прав – лучший выход для никудышной семьи, поскольку остальные выходы еще хуже. Однако нельзя также не признать, что эти доводы – не очень сильный аргумент в пользу брака, как, впрочем, и против него. Они просто не имеют к нему прямого отношения. Британцами во время антинацистской войны командовал Уинстон Черчилль, а не Карл Поппер. И если бы с нами в лодке был тогда пусть не адмирал, но настоящий моряк, он, вероятно, мог бы приободрить нас даже чем-то вроде: «А и утонуть, – невелика беда!» Ни в каких других устах – кроме разве что Садко – такая фраза не звучала бы особенно вдохновляюще. Кто, что, как и когда говорит, иногда важнее формального содержания того, что говорится. Вдохновение контекстуально.

От какого невольничьего берега мы отплываем? Чьим, собственно, невольником был если не весь наш народ, то значительная его часть? Достаточно ли для освобождения простого желания не подчиняться чьему-то насилию? Интеллигентная сотрудница одной городской администрации возмущается. Топонимика в ее городе практически не изменилась за последние десять лет, и на каждом перекрестке встречаются, пересекаясь, имена Ленина, Карла Маркса, Клары Цеткин, Дзержинского, Воровского, Урицкого и т. п. Никто из этих людей никогда не жил в этом городе. Это город чужих красных углов, как, впрочем, и многие другие областные и районные центры России. Спрашиваю: «А как у вас относятся к «белым» именам?» Отвечает: «У нас встретили белых хлебом-солью! Поэтому белые здесь никого и не расстреляли!» Красные расстреляли неведомо сколько – не «поэтому», а «вообще», и в защиту красных имен проводятся демонстрации. Одинокая нищая старушка – единственная обитательница когда-то большого, когда-то зажиточного села на Кенозере в Архангельской области – вволю порассказав об ужасах революции и послереволюционных десятилетий, внезапно добавляет: «И всёж-дак вынесли всё, и отстояли совецку-то нашу власть!» Красные – страшные, и страшно свои, а белые – страшно чужие. Должны бы казнить, если и не казнят, и надо придумывать причину – почему. Разные люди были у красных, и разные – у белых, знаю это по семейной, домашней истории, почти по жизненному опыту – все смешивается в истории. Сова Минервы – гризайль, серым по серому, грязью по грязи. Огни Беллоны – кровь, грязь, каждый за себя, Бог за всех. Но: красные физически пугают, белые – метафизически. При красных страшно, да не стыдно, ибо никто и ни в чем не выше тебя, разве что – главней, а это совсем не то же самое. Георгий Чулков рассказывал об унтер-офицере своей роты, который после известия об отречении императора вытянулся, отдал честь и сказал шепотом: «Греха больше не будет...» И сознание этого, как гласит реклама сладостей – «крайское наслаждение»? И даже если понятно, что кончится это наслаждение плохо, даже если давно известно, что плохо – хуже редко бывает – и кончилось, невозможно

забыть о его предвкушении, да и о вкушении, видимо, тоже. Сладости – не без умысла, должно быть – называются «Баунти». Очевидно в честь английского «man of wag» – парусного предшественника нашего мятежного дредноута «Светлейший князь Потемкин-Таврический», за столетие с лишним до него уведенного взбунтовавшимся экипажем к райским берегам Океании. Мятеж всегда кончается удачей, в противном случае его зовут иначе. «Райское наслаждение» в России на каждом красном углу. Тоталитарные диктатуры рождаются из недоверия, пока сохраняется вера и, следовательно – серьезное отношение к собственному неверию, и поддерживаются бесстыдством, пока таковое еще способно доставлять наслаждение, то есть пока сохраняется стыд.

Строй жизни, существующий у нас уже более десятилетия, трудно считать чьим-то завоеванием. За него, по большому счету, никто не сражался конно, людно и оружно. Если что-то подобное и произошло однажды – правда, почти без оружия – 20 августа 1991 года, то вскоре было высмеяно не только противниками, но и самими участниками. В оправдание этого строя никто не написал ни единого серьезного трактата. Демократический и рыночный мифы в их существующем виде были почти даром приобретены в магазине идей second hand за отсутствием реального выбора. Возможно – кажущимся отсутствием. Основные институты общества и его правила возникли, между тем, как-то сами собой, в силу естественного развития. Все эти годы власть была слаба. Причем не только в том философском смысле, в каком принято рассуждать о человеческой слабости вообще, но и в тех двух – вместе, поврозь или попеременно – в одном из которых в эпоху до политической корректности говорили о слабости слабого пола, а в другом и до, и после нее, упоминается слабость сильного. При этом, надо признать, сугубое бессилие властей приносило больше реальных плодов разного качества, чем торжество каких-то одних общественных идеалов над какими-то другими. Свобода слова, свобода совести, свобода покидать страну и возвращаться в нее, свободное ценообразование и свобода предпринимательства, отмена монополии внешней торговли, конвертируемость рубля, свобода ассоциации и политического волеизъявления, территориальная децентрализация управления и многое другое. Эти важнейшие, хотя на практике и далеко не во всем бесспорные, достижения были связаны, скорее, с невозможностью далее поддерживать внушенные себе или навязанные запреты, чем с исполнением данных кем-то и когда-то обетов или выполнении продуманных планов. Практически в любой момент на протяжении трех четвертей века в стране, при желании, можно было отменить едва ли не любые из этих запретов. Начиная с элементарного – контроля над ценами. После этого произошло бы примерно то же, что случилось в 1992 г. Однако и годы спустя бывшие члены тогдашнего правительства оправдывают свои действия не столько их разумностью, их естественностью, народной волей или же своей верой, сколько их неизбежностью или крайней вынужденностью, то есть форс-мажорностью.

Иначе в стране наступил бы голод. В путь-дорогу, ибо готовы опустеть фараоновы котлы? Существует не только бегство от свободы, но и бегство к свободе. И мне трудно сказать, какое стремление преобладает не в данный момент, а как тенденция.

Кульминация гоголевского «Ревизора». Явление одиннадцатое предпоследнего действия, когда к Хлестакову вдруг начинают приходить зловещие – будто из «Капричос» Гойи – жалобщики. Двусмысленные татарские купцы, жуткая унтер-офицерская вдова и, наконец, «какая-то фигура во фризовой шинели с небритой бородою, раздутою губою и перевязанною щекою», которую выталкивают, упираясь в брюхо. За ней «в перспективе показываются несколько других» – воображаю, каких. В окно совываются руки с просьбами – тоже, воображаю, какими. Хлестаков отшатывается от окна: «Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно!». Тут же и расстроенный городничий: «Это такие мошенники, каких свет не производил». Мизансцена такова, что в этот момент ему трудно не поверить. До этого явления на подмостках – ничтожная вороватая власть, обычно в исполнении театральных звезд. Здесь же на мгновение к ним присоединяются актеры миманса, изображающие ее подданных, народ – будущий коллективный суверен демократии. Вскоре после Гоголя образованное общество в России придет к выводу о том, что подобная власть заведомо хуже подобного народа, а не наоборот, как считалось прежде. Полтора века спустя, не делая никакого специального вывода, исходят из того, что они стоят друг друга в горе и в радости. Это и есть торжество демократии. Достоинство этой формы политического устройства в том, что она позволяет безболезненно менять людей у власти. Карл Поппер склонен был считать это ее единственным достоинством. Единственное или нет, оно обесмысливается, когда такая смена ничего не меняет – даже для самих сменяемых. Главный вызов самостоянию человека всегда бросает не столько тоталитаризм сам по себе, то есть алогичное с его точки зрения насилие, возведенное в правило, сколько конформизм. Конформизм «райского наслаждения». Если он торжествует в обществе, способном обеспечить то, что представляется в данный момент жизненными потребностями, тоталитаризм избыточен, из чего, впрочем, не следует, что он невозможен. Человеку вообще свойственно позволять себе лишнее и даже добывать невозможное со дна бездны.

Жизнь научила меня еще трем вещам. Вопреки Монтеスキе, общественных институтов недостаточно, чтобы общество могло вести такую упорядоченную жизнь, к какой стремится. Вопреки Токвилю, чтобы быть свободным, недостаточно желанья быть свободным. Вопреки Сартру, традиции никого не оправдывают, хотя и многое объясняют.

Сегодня перед нами выбор не столько между тоталитаризмом и демократией, сколько между жизнью в декорациях демократии и созданием «социальных компьютеров», пребывание в которых лично мне не совсем нравится. Мы проектируем и строим рациональную

конструкцию, играя роль элементов ее микросхемы, кодов программного языка, электронных импульсов и т. д. Элементы часто добровольно и иногда увлеченно участвуют в совершенствовании компьютера – средство и сообщение сближаются в опасном смысле. Кому-то такой образ понравится больше, чем образы винтиков, по чьей-то воле обеспечивающих работу машины, или человеческого товара на свободном рынке, кому-то – не больше, кому-то меньше. Вряд ли кто-то сможет сегодня сказать, как далеко от социального компьютера до социального киборга, в котором используются достижения не устаревшей и посрамленной евгеники, а современной биоинженерии. В любом случае такая рациональная конструкция если и способствует поддержанию свободы в том виде, в каком эта свобода нас обычно привлекает, то вовсе не потому, что для этого предназначена. И лишь до тех пор, пока меняющиеся и, возможно – все более прихотливые – определения свободы не вступают в противоречие с ее постоянно совершенствующимся «программным обеспечением». До сих пор никто не представил убедительного доказательства того, что такого противоречия не существует по определению. Так же, впрочем, как и доказательств того, что гарантией политической свободы являются демократия, правовое государство, рынок, даже нежелание быть несвободным – все что угодно, а не исключительно такой ориентир, как Божественный дар свободы воли. От него можно отречься, можно продать его, как первородство, за чечевичную похлебку, отказать другим в праве на него. Единственное, чего никому не удавалось сделать – навсегда или хотя бы очень надолго заставить всех забыть об этом даре. Однако не существует также и доказательств того, что этот дар, позволяющий человеку быть свободным, сам по себе делает его таковым. Скорее наоборот – именно из повседневного общего злоупотребления ею рождается тоталитарное рабство и конформное свинство свободных и равных в своей свободе перед Богом людей, а не их братство. И первое, и второе, и третье – предметы веры. И пока человек повторяет утром: «...Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе...» и вечером – «Не попушай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего...», – есть надежда, что его свобода воли не обречена на тоталитарное или конформистское воплощение. И пока история творится людьми, хотя бы иногда вспоминающими это, она будет знать сослагательное наклонение, и будущее останется действенной составляющей прошлого, и не распадется связь времен.

Говорят, к примеру, что в России нет традиции уважения к праву собственности, да и к праву вообще. Допускаю. Еще сто с лишним лет тому назад А.Фет и К.Леонтьев предлагали сугубо сечь тех, кто не соблюдает договора под тем предлогом, что живут они, мол, не по закону, а по благодати. Верните, однако, к примеру, незаконно похищенную после 1917 года собственность ее сохранившимся владельцам и их законным наследникам, которых с каждым годом все меньше, или

хотя бы в меру действительных возможностей государства компенсируйте ее потерю – не на словах, не в виде декларации принципов на будущее, а на деле. Физически, и с ясным объяснением того, что это именно возвращение незаконно отобранного. По той простой причине, что оно было незаконно отобрано, а не оттого, что это очередное благодеяние власти ради повышения благосостояния очередной части народа. И не потому, что это выгодная – или невыгодная, но вынужденная – уступка западным представлениям о праве, результат ловкого исторического компромисса с церковью, эмигрантами первого поколения и т. п. Говорю об этом вполне бескорыстно, лично ни на что не претендуя. Проверьте, создайте прецедент. Возможно, после этого Россия станет страной с традицией уважения права, в том числе – права собственности. У истока каждой традиции – поступок, жертва, совершаемые сегодня и, при этом, отсылающие нас к истории. Существует множество простых и важных вещей, которые не делаются, хотя сделать их не только нужно и можно, но и почти что ничего не стоит.

И еще кое-чему научила меня жизнь. Например, тому, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, и что это справедливо не всегда и не во всем. Что о вкусах не спорят, лошадей на переправе не меняют, и на дураков не обижаются. И что если бы этим принципам строго следовали, не стало бы, наконец, ни языка, ни политики, ни истории – только сознание, микромир и макромир. Был бы физик, и не было бы лириков. Если я у жизни еще чему-нибудь научусь, то постараюсь об этом рассказать. Хотя, может быть, и не обо всем стоит рассказывать. Упрекал же Пушкин разговорчивого Стерна в том, что без его чрезмерной наблюдательности никто не обратил бы внимания на вещи, на которые внимание лучше не обращать.